

IN 1928, when I was nine, I belonged, with maximum esprit de corps, to an organization known as the Comanche Club. Every schoolday afternoon at three o'clock, twenty-five of us Comanches were picked up by our Chief outside the boys' exit of P. S. 165, on 109th Street near Amsterdam Avenue. We then pushed and punched our way into the Chief's reconverted commercial bus, and he drove us (according to his financial arrangement with our parents) over to Central Park. The rest of the afternoon, weather permitting, we played football or soccer or baseball, depending (very loosely) on the season. Rainy afternoons, the Chief invariably took us either to the Museum of Natural History or to the Metropolitan Museum of Art.

Saturdays and most national holidays, the Chief picked us up early in the morning at our various apartment houses and, in his condemned-looking bus, drove us out of Manhattan into the comparatively wide open spaces of Van Cortlandt Park or the Palisades. If we had straight athletics on our minds, we went to Van Cortlandt, where the playing fields were regulation size and where the opposing team didn't include a baby carriage or an irate old lady with a cane. If our Comanche hearts were set on camping, we went over to the Palisades and roughed it.

(I remember getting lost one Saturday somewhere on that tricky stretch of terrain between the Linit sign and the site of the western end of the George Washington Bridge. I kept my head, though. I just sat down in the majestic shadow of a giant billboard and, however tearfully, opened my lunchbox for business, semi-confident that the Chief would find me. The Chief always found us.)

In his hours of liberation from the Comanches, the Chief was John Gedsudski, of Staten Island. He was an extremely shy, gentle young man of twenty-two or -three, a law student at N.Y.U., and altogether a very memorable person. I won't attempt to assemble his many achievements and virtues here. Just in passing, he was an Eagle Scout, an almost-All-America tackle of 1926, and it was known that he had been most cordially invited to try out for the New York Giants' baseball team. He was an impartial and unexcitable umpire at all our bedlam sporting events, a master fire builder and extinguisher, and an expert, uncondemned first-aid man. Every one of us, from the smallest hoodlum to the biggest, loved and respected him.

The Chief's physical appearance in 1928 is still clear in my mind. If wishes were inches, all of us Comanches would have had him a giant in no time. The way things go, though, he was a stocky five three or four--no more than that. His hair was blue-black, his hair-line extremely low, his nose was large and fleshy, and his torso was just about as long as his legs were. In his leather windbreaker, his shoulders were powerful, but narrow and sloping. At the time, however, it seemed to me that in the Chief all the most photogenic features of Buck Jones, Ken Maynard, and Tom Mix had been smoothly amalgamated.

Every afternoon, when it got dark enough for a losing team to have an excuse for missing a number of infield popups or end-zone passes, we Comanches relied heavily and selfishly on the Chief's talent for storytelling. By that hour, we were usually an overheated, irritable bunch, and we fought each other--either with our fists or our shrill voices--for the seats in the bus nearest the Chief. (The bus had two parallel rows of straw seats. The left row had three extra seats--the best in the bus--that extended as far forward as the driver's profile.) The Chief climbed into the bus only after we had settled down. Then he straddled his driver's seat backward and, in his reedy but modulated tenor voice, gave us the new installment of "The Laughing Man." Once he started narrating, our interest never flagged. "The Laughing Man" was just the right story for a Comanche. It may even have had classic dimensions. It was a story that tended to sprawl all over the place, and yet it remained essentially portable. You could always take it home with you and reflect on it while sitting, say, in the outgoing water in the bathtub.

В 1928 году -- девяти лет от роду -- я был членом некоей организации, носившей название Клуба команчей, и привержен к ней со всем esprit de corps. Ежедневно после уроков, ровно в три часа, у выхода школы N_165, на Сто девятой улице, близ Амстердамского авеню, нас, двадцать пять человек команчей, поджидал наш Вождь. Теснясь и толкаясь, мы забирались в маленький "пикап" Вождя, и он вез нас согласно деловой договоренности с нашими родителями в Центральный парк. Все послеобеденное время мы играли в футбол или в бейсбол, в зависимости -- правда, относительной -- от погоды. В очень дождливые дни наш Вождь обычно водил нас в естественно-исторический музей или в Центральную картинную галерею.

По субботам и большим праздникам Вождь с утра собирал нас по квартирам и в своем доживавшем век "пикапе" вывозил из Манхэттена на сравнительно вольные просторы Ван-Кортлендовского парка или в Палисады. Если нас тянуло к честному спорту, мы ехали в Ван-Кортлендовский парк: там были настоящие площадки и футбольные поля и не грозила опасность встретить в качестве противника детскую коляску или разъяренную старую даму с палкой. Если же сердца команчей тосковали по вольной жизни, мы отправлялись за город в Палисады и там боролись с лишениями.

(Помню, однажды, в субботу, я даже заблудился в дебрях между дорожным знаком и просторами вашингтонского моста. Но я не растерялся. Я примостился в тени огромного рекламного щита и, глотая слезы, развернул свой завтрак -- для подкрепления сил, смутно надеясь, что Вождь меня отыщет. Вождь всегда находил нас).

В часы, свободные от команчей, наш Вождь становился просто Джоном Гедсудским со Стейтон-Айленд. Это был предельно застенчивый, тихий юноша лет двадцати двух -- двадцати трех, обыкновенный студент-юрист Нью-Йоркского университета, но для меня его образ незабываем. Не стану перечислять все его достоинства и добродетели. Скажу мимоходом, что он был членом бойскаутской "Орлиной стаи", чуть не стал лучшим нападающим, почти что чемпионом американской сборной команды 1926 года, и что его как-то раз весьма настойчиво приглашали попробовать свои силы в нью-йоркской бейсбольной команде мастеров. Он был самым беспристрастным и невозмутимым судьей в наших бешеных соревнованиях, мастером по части разжигания и гашения костров, опытным и снисходительным подателем первой помощи. Мы все, от малышей до старших сорванцов, любили и уважали его беспрдельно.

Я и сейчас вижу перед собой нашего Вождя таким, каким он был в 1928 году. Будь наши желания в силах наращивать дюймы, он вмиг стал бы у нас великаном. Но жизнь есть жизнь, и росту в нем было всего каких-нибудь пять футов и три-четыре дюйма. Иссиня-черные волосы почти закрывали лоб, нос у него был крупный, заметный, и туловище почти такой же длины, как ноги. Плечи в кожаной куртке казались сильными, хотя и неширокими, сутуловатыми. Но для меня в то время в нашем Вожде нерасторжимо сливались все самые фотогеничные черты лучших киноактеров -- и Бака Джонса, и Кена Мейнарда, и Тома Микса.

К вечеру, когда настолько темнело, что проигрывающие оправдывались этим, если мазали или упускали легкие мячи, мы, команчи, упорно и эгоистично эксплуатировали талант Вождя как рассказчика. Разгоряченные, взвинченные, мы дрались и визгливо ссорились из-за мест в "пикапе", поближе к Вождю. В "пикапе" стояли два параллельных ряда соломенных сидений. Слева были еще три места -- самые лучшие: с них можно было видеть даже профиль Вождя, сидевшего за рулем. Когда мы все рассаживались, Вождь тоже забирался в "пикап". Он садился на свое шоферское место, лицом к нам и спиной к рулю, и слабым, но приятным тенорком начинал очередной выпуск "Человека, который смеялся". Стоило ему начать -- и мы уже слушали с неослабевающим интересом. Это был самый подходящий рассказ для настоящих команчей. Повествование ширилось, захватывало тебя, поглощало все окружающее и вместе с тем оставалось в памяти сжатым, компактным и как бы портативным. Его можно было унести домой и вспоминать, сидя, скажем, в ванне, пока медленно выливается вода.

The only son of a wealthy missionary couple, the Laughing Man was kidnapped in infancy by Chinese bandits.

When the wealthy missionary couple refused (from a religious conviction) to pay the ransom for their son, the bandits, signally piqued, placed the little fellow's head in a carpenter's vise and gave the appropriate lever several turns to the right. The subject of this unique experience grew into manhood with a hairless, pecan-shaped head and a face that featured, instead of a mouth, an enormous oval cavity below the nose. The nose itself consisted of two flesh-sealed nostrils. In consequence, when the Laughing Man breathed, the hideous, mirthless gap below his nose dilated and contracted like (as I see it) some sort of monstrous vacuole. (The Chief demonstrated, rather than explained, the Laughing Man's respiration method.) Strangers fainted dead away at the sight of the Laughing Man's horrible face. Acquaintances shunned him. Curiously enough, though, the bandits let him hang around their headquarters--as long as he kept his face covered with a pale-red gossamer mask made out of poppy petals. The mask not only spared the bandits the sight of their foster son's face, it also kept them sensible of his whereabouts; under the circumstances, he reeked of opium.

Every morning, in his extreme loneliness, the Laughing Man stole off (he was as graceful on his feet as a cat) to the dense forest surrounding the bandits' hideout. There he befriended any number and species of animals: dogs, white mice, eagles, lions, boa constrictors, wolves. Moreover, he removed his mask and spoke to them, softly, melodiously, in their own tongues. They did not think him ugly.

(It took the Chief a couple of months to get that far into the story. From there on in, he got more and more high-handed with his installments, entirely to the satisfaction of the Comanches.)

The Laughing Man was one for keeping an ear to the ground, and in no time at all he had picked up the bandits' most valuable trade secrets. He didn't think much of them, though, and briskly set up his own, more effective system. On a rather small scale at first, he began to free-lance around the Chinese countryside, robbing, highjacking, murdering when absolutely necessary. Soon his ingenious criminal methods, coupled with his singular love of fair play, found him a warm place in the nation's heart. Strangely enough, his foster parents (the bandits who had originally turned his head toward crime) were about the last to get wind of his achievements. When they did, they were insanely jealous. They all single-filed past the Laughing Man's bed one night, thinking they had successfully doped him into a deep sleep, and stabbed at the figure under the covers with their machetes. The victim turned out to be the bandit chief's mother--an unpleasant, haggling sort of person. The event only whetted the bandits' taste for the Laughing Man's blood, and finally he was obliged to lock up the whole bunch of them in a deep but pleasantly decorated mausoleum. They escaped from time to time and gave him a certain amount of annoyance, but he refused to kill them. (There was a compassionate side to the Laughing Man's character that just about drove me crazy.)

Soon the Laughing Man was regularly crossing the Chinese border into Paris, France, where he enjoyed flaunting his high but modest genius in the face of Marcel Dufarge, the internationally famous detective and witty consumptive. Dufarge and his daughter (an exquisite girl, though something of a transvestite) became the Laughing Man's bitterest enemies. Time and again, they tried leading the Laughing Man up the garden path. For sheer sport, the Laughing Man usually went halfway with them, then vanished, often leaving no even faintly credible indication of his escape method. Just now and then he posted an incisive little farewell note in the Paris sewerage system, and it was delivered promptly to Dufarge's boot. The Dufarges spent an enormous amount of time sloshing around in the Paris sewers.

Soon the Laughing Man had amassed the largest personal fortune in the world. Most of it he contributed anonymously to the monks of a local monastery--humble ascetics who had dedicated their lives to raising German police dogs. What was left of his fortune, the Laughing Man converted into diamonds, which he lowered casually, in emerald vaults, into the Black Sea. His personal wants were few. He subsisted exclusively on rice and eagles' blood, in a tiny cottage with an underground gymnasium and shooting range, on the stormy coast of Tibet. Four blindly loyal confederates lived with him: a glib timber wolf named Black Wing, a lovable dwarf named Omba, a giant Mongolian named Hong, whose tongue had been burned out by white men, and a gor-

Единственный сын богатых миссионеров, Человек, который смеялся, был в раннем детстве похищен китайскими бандитами.

Когда богатые миссионеры отказались (из религиозных соображений) заплатить выкуп за сына, бандиты, оскорбленные в своих лучших чувствах, сунули голову малыша в тиски и несколько раз повернули соответствующий винт вправо. Объект такого, единственного в своем роде, эксперимента вырос и возмужал, но голова у него осталась лысой, как колено, грушевидной формы, а под носом вместо рта зияло огромное овальное отверстие. Да и вместо носа у него были только следы заросших ноздрей. И потому, когда Человек дышал, жуткое уродливое отверстие под носом расширялось и опадало, в моем представлении, словно огромная амеба. (Вождь скорее наглядно изображал, чем описывал, как дышал Человек.) При виде страшного лица Человека, который смеялся, непривычные люди с ходу падали в обморок. Знакомые избегали его. Как ни странно, бандиты не гнали его от себя -- лишь бы он прикрывал лицо тонкой бледно-алой маской, сделанной из лепестков мака. Эта маска не только скрывала от бандитов лицо их приемного сына -- благодаря ей они всякий раз знали, где он находится: по вполне понятной причине от него несло опиумом.

Каждое утро, страдая от одиночества, Человек прокрадывался (конечно, грациозно и легко, как кошка) в густой лес, окружавший бандитское логово. Там он дружил со всяким зверьем: с собаками, белыми мышами, орлами, львами, боа-констрикторами, волками. Мало того, там он снимал маску и со всеми зверями разговаривал мягким, мелодичным голосом на их собственном языке. Им он не казался уродом.

Вождю понадобилось месяца два, чтобы дойти до этого места в рассказе. Но отсюда он стал куда щедрее разворачивать события перед восхищенными команчами.

Человек, который смеялся, был мастером подслушивать и вскоре овладел всеми самыми сокровенными тайнами бандитской профессии. Но об этих приемах он был не слишком высокого мнения и незамедлительно изобрел собственную, куда более эффективную систему: сначала изредка, потом чаще он стал разгуливать по Китаю, грабя и оглушая людей, -- убивал он только в случае крайней необходимости. Своими изворотливыми и хитрыми преступлениями, в которых, как ни удивительно, проявлялось его исключительное благородство, он завоевал прочную любовь простого народа. Как ни странно, его приемные родители (те самые бандиты, которые толкнули его на стезю преступлений) узнали о его подвигах чуть ли не последними. А когда узнали, их охватила черная зависть. Ночью они гуськом продефилировали мимо постели Человека, думая, что, одурманенный ими, он спит глубоким сном, и по очереди вонзали в тело, покрытое одеялами, свои ножи-мачете. Но жертвой оказалась мамаша главаря банды, чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Этот случай только распалил бандитов, жаждавших крови Человека, который смеялся, и в конце концов ему пришлось запереть свою банду в глубокий, но вполне комфортабельно обставленный мавзолей. Изредка они удирали оттуда и мешали ему жить, но все же убивать их он не желал. (Эта его нелепая жалостливость бесила меня до чертиков).

Вскоре Человек, который смеялся, стал регулярно пересекать китайскую границу, попадая прямо в Париж, французский город, где он при всей своей скромности любил с гениальной изобретательностью изводить некоего Марселя Дюфаржа, всемирно известного сыщика, чахоточного, но весьма остроумного господина. Дюфарж и его дочка (очаровательная, хоть и двуличная девица) стали злейшими врагами Человека. Много раз они пытались провести и поймать его. Человек вначале поддавался им из чисто спортивного интереса, но потом исчезал без следа, так что никто не мог догадаться, каким образом он удрал. Только изредка он оставлял прощальную записочку в системе парижской канализации, и она незамедлительно доставлялась Дюфаржу в собственные руки. Семья Дюфаржей проводила невероятное количество времени, шлепая по трубам парижской канализации.

Вскоре Человек, который смеялся, стал единоличным владельцем самого грандиозного состояния в мире. Большую часть он анонимно пожертвовал монахам одного местного монастыря -- смиренным аскетам, посвятившим жизнь дрессировке немецких овчарок. Остатки своего богатства Человек вкладывал в бриллианты, он небрежно опускал их в изумрудных сейфах на дно Черного моря. Личные его потребности были до смешного ограничены. Он питался исключительно рисом с орлиной кровью и жил в скромном домике, с подземным тиром и гимнастическим залом, на бурном берегу Тибета. С ним жили четверо беззаветно преданных сообщников: легконогий гигант волк, по прозвищу Чер-

geous Eurasian girl, who, out of unrequited love for the Laughing Man and deep concern for his personal safety, sometimes had a pretty sticky attitude toward crime. The Laughing Man issued his orders to the crew through a black silk screen. Not even Omba, the lovable dwarf, was permitted to see his face.

I'm not saying I will, but I could go on for hours escorting the reader--forcibly, if necessary--back and forth across the Paris-Chinese border. I happen to regard the Laughing Man as some kind of super-distinguished ancestor of mine--a sort of Robert E. Lee, say, with the ascribed virtues held under water or blood. And this illusion is only a moderate one compared to the one I had in 1928, when I regarded myself not only as the Laughing Man's direct descendant but as his only legitimate living one. I was not even my parents' son in 1928 but a devilishly smooth impostor, awaiting their slightest blunder as an excuse to move in--preferably without violence, but not necessarily--to assert my true identity. As a precaution against breaking my bogus mother's heart, I planned to take her into my underworld employ in some undefined but appropriately regal capacity. But the main thing I had to do in 1928 was watch my step. Play along with the farce. Brush my teeth. Comb my hair. At all costs, stifle my natural hideous laughter.

Actually, I was not the only legitimate living descendant of the Laughing Man. There were twenty-five Comanches in the Club, or twenty-five legitimate living descendants of the Laughing Man--all of us circulating ominously, and incognito, throughout the city, sizing up elevator operators as potential archenemies, whispering side-of-the-mouth but fluent orders into the ears of cocker spaniels, drawing beads, with index fingers, on the foreheads of arithmetic teachers. And always waiting, waiting for a decent chance to strike terror and admiration in the nearest mediocre heart.

One afternoon in February, just after Comanche baseball season had opened, I observed a new fixture in the Chief's bus. Above the rear-view mirror over the windshield, there was a small, framed photograph of a girl dressed in academic cap and gown. It seemed to me that a girl's picture clashed with the general men-only decor of the bus, and I bluntly asked the Chief who she was. He hedged at first, but finally admitted that she was a girl. I asked him what her name was. He answered unforthrightly, "Mary Hudson." I asked him if she was in the movies or something. He said no, that she used to go to Wellesley College. He added, on some slow-processed afterthought, that Wellesley College was a very high class college. I asked him what he had her picture in the bus for, though. He shrugged slightly, as much as to imply, it seemed to me, that the picture had more or less been planted on him.

During the next couple of weeks, the picture--however forcibly or accidentally it had been planted on the Chief--was not removed from the bus. It didn't go out with the Baby Ruth wrappers and the fallen licorice whips. However, we Comanches got used to it. It gradually took on the unarresting personality of a speedometer.

But one day as we were on our way to the Park, the Chief pulled the bus over to a curb on Fifth Avenue in the Sixties, a good half mile past our baseball field. Some twenty back-seat drivers at once demanded an explanation, but the Chief gave none. Instead, he simply got into his story-telling position and swung prematurely into a fresh installment of "The Laughing Man." He had scarcely begun, however, when someone tapped on the bus door. The Chief's reflexes were geared high that day. He literally flung himself around in his seat, yanked the operating handle of the door, and a girl in a beaver coat climbed into the bus.

Offhand, I can remember seeing just three girls in my life who struck me as having unclassifiably great beauty at first sight. One was a thin girl in a black bathing suit who was having a lot of trouble putting up an orange umbrella at Jones Beach, circa 1936. The second was a girl aboard a Caribbean cruise ship in 1939, who threw her cigarette lighter at a porpoise. And the third was the Chief's girl, Mary Hudson.

"Am I very late?" she asked the Chief, smiling at him.

She might just as well have asked if she was ugly.

"No!" the Chief said. A trifle wildly, he looked at the Comanches near his seat and signalled the row to give way. Mary Hudson sat down between me and a boy named Edgar something, whose uncle's best friend was a bootlegger. We

покрытый, симпатичный карлик, по имени Омба, великан монгол, по имени Гонг (язык ему выжгли белые люди), и несказанно прекрасная девушка-евразийка, которая из неразделенной любви к Человеку и постоянного страха за его личную безопасность иногда не брезговала даже нарушением законности. Человек отдавал распоряжения своей команде из-за черной шелковой ширмы. Даже Омбе, симпатичному карлику, не надо было видеть его лицо.

Я мог бы буквально часами -- не бойтесь, не буду! -- водить вас, читатель, насильно, если понадобится, взад и вперед, через китайско-парижскую границу. До сих пор я считаю Человека, который смеялся, кем-то вроде своего героического предка, ну, скажем, Роберта Э. Ли. Но эти нынешние мечты и сравнить нельзя с теми, что владели мною в 1928 году, когда я считал себя не только прямым потомком Человека, но и его единственным живым и законным наследником. В том, 1928 году я был вовсе не сыном своих родителей, но дьявольски хитрым самозванцем, выжидавшим малейшего просчета с их стороны, чтобы тут же, лучше без насилия, хотя и оно не исключалось, открыть им свое истинное лицо. Но, не желая разбить сердце своей мнимой матери, я предполагал наградить ее в моем преступном мире каким-то, пока неопределенным, но, несомненно, королевским званием. Однако самым главным для меня в 1928 году была постоянная бдительность. Играть им всем на руку. Чистить зубы, причесываться. Изюм всех сил скрывать свой природный, дьявольски жуткий смех.

В действительности я был далеко не единственным живым потомком и законным наследником Человека, который смеялся. В клубе было двадцать пять команчей, двадцать пять живых потомков и законных наследников Человека, и мы все зловещими незнакомцами кружили по городу, чуя возможного врага в каждом лифте, сдавленным, но отчетливым шепотом отдавали приказания на ухо своему спаниелю и, вытянув указательный палец, брали на мушку учителей арифметики. И напряженно, неустанно выжидали, когда же наконец представится случай вселить ужас и восхищение в чью-то простую душу.

Однажды, в февральский день, открывший сезон бейсбола для команчей, я узрел новое украшение в машине нашего Вождя. Над зеркальцем ветрового стекла появилась маленькая фотография девушки в студенческой шапочке и мантии. Мне показалось, что эта фотография нарушает общий, чисто мужской стиль нашего "пикапа", и я прямо спросил Вождя, кто это такая. Сначала он помялся, но наконец открыл мне, что это девушка. Я спросил, как ее зовут. Помедлив, он нехотя ответил: "Мэри Хадсон". Я спросил: в кино она, что ли? Он сказал -- нет, она училась в университете, в Уэлсли-колледже. После некоторого размышления он добавил, что Уэлсли-колледж -- очень знаменитый колледж. Я спросил его -- зачем ему эта карточка т у т, в нашей машине? Он слегка пожал плечами, словно хотел, как мне показалось, создать впечатление, что фотографию ему вроде как бы навязали.

Но в ближайшие две-три недели эта фотография, силой или случайно навязанная нашему Вождю, так и оставалась в машине. Ее не вымели ни с конфетными бумажками, где был изображен Бэб Рут, ни с палочками от леденцов. И мы, команчи, как-то к ней привыкли. Постепенно мы ее стали замечать не больше чем спидометр.

Но однажды по дороге в парк Вождь остановил машину на Пятой авеню а районе Шестидесятых улиц, более чем в полумили от нашей бейсбольной площадки. Двадцать непрошенных советчиков тут же потребовали объяснений, но Вождь промолчал. Вместо ответа он принял обычную позу рассказчика и не ко времени стал нас угощать продолжением истории Человека, который смеялся. Но не успел он начать, как в дверцу машины постучались. В тот день все рефлексy нашего Вождя были молниеносными. Он буквально перевернулся вокруг собственной оси, дернул ручку дверцы, и девушка в меховой шубке забралась в наш "пикап".

Сразу, без раздумья, я вспоминаю только трех девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году -- худенькая девочка в черном купальнике, которая никак не могла закрыть оранжевый зонтик. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе, в Карибском море, -- она еще бросила зажигалку в дельфина. А третьей была девушка нашего Вождя -- Мэри Хадсон.

-- Я очень опоздала? -- спросила она, улыбаясь Вождю

С тем же успехом она могла бы спросить: "Я очень не-красивая?" -- Нет! -- сказал наш Вождь. Растерянным взглядом он обвел команчей, сидевших поблизости от него, и подал знак -- уступить место. Мэри Хадсон села между мной и мальчиком по имени Эдгар -- фамилии не помню

gave her all the room in the world. Then the bus started off with a peculiar, amateur-like lurch. The Comanches, to the last man, were silent.

On the way back to our regular parking place, Mary Hudson leaned forward in her seat and gave the Chief an enthusiastic account of the trains she had missed and the train she hadn't missed; she lived in Douglaston, Long Island. The Chief was very nervous. He didn't just fail to contribute any talk of his own; he could hardly listen to hers. The gearshift knob came off in his hand, I remember.

When we got out of the bus, Mary Hudson stuck right with us. I'm sure that by the time we reached the baseball field there was on every Comanche's face a some-girls-just-don't-know-when-to-go-home look. And to really top things off, when another Comanche and I were flipping a coin to decide which team would take the field first, Mary Hudson wistfully expressed a desire to join the game. The response to this couldn't have been more clean-cut. Where before we Comanches had simply stared at her femaleness, we now glared at it. She smiled back at us. It was a shade disconcerting. Then the Chief took over, revealing what had formerly been a well-concealed flair for incompetence. He took Mary Hudson aside, just out of earshot of the Comanches, and seemed to address her solemnly, rationally. At length, Mary Hudson interrupted him, and her voice was perfectly audible to the Comanches.

"But I do," she said. "I do, too, want to play!" The Chief nodded and tried again. He pointed in the direction of the infield, which was soggy and pitted. He picked up a regulation bat and demonstrated its weight.

"I don't care," Mary Hudson said distinctly, "I came all the way to New York--to the dentist and everything--and I'm gonna play."

The Chief nodded again but gave up. He walked cautiously over to home plate, where the Braves and the Warriors, the two Comanche teams, were waiting, and looked at me. I was captain of the Warriors.

He mentioned the name of my regular center fielder, who was home sick, and suggested that Mary Hudson take his place. I said I didn't need a center fielder. The Chief asked me what the hell did I mean I didn't need a center fielder. I was shocked. It was the first time I had heard the Chief swear.

What's more, I could feel Mary Hudson smiling at me. For poise, I picked up a stone and threw it at a tree.

We took the field first. No business went out to center field the first inning. From my position on first base, I glanced behind me now and then. Each time I did, Mary Hudson waved gaily to me. She was wearing a catcher's mitt, her own adamant choice. It was a horrible sight.

Mary Hudson batted ninth on the Warriors' lineup. When I informed her of this arrangement, she made a little face and said, "Well, hurry up, then." And as a matter of fact we did seem to hurry up. She got to bat in the first inning. She took off her beaver coat--and her catcher's mitt--for the occasion and advanced to the plate in a dark-brown dress. When I gave her a bat, she asked me why it was so heavy. The Chief left his umpire's position behind the pitcher and came forward anxiously. He told Mary Hudson to rest the end of her bat on her right shoulder.

"I am," she said. He told her not to choke the bat too tightly. "I'm not," she said. He told her to keep her eye right on the ball. "I will," she said. "Get outa the way." She swung mightily at the first ball pitched to her and hit it over the left fielder's head. It was good for an ordinary double, but Mary Hudson got to third on it--standing up.

When my astonishment had worn off, and then my awe, and then my delight, I looked over at the Chief. He didn't so much seem to be standing behind the pitcher as floating over him. He was a completely happy man. Over on third base, Mary Hudson waved to me. I waved back. I couldn't have stopped myself, even if I'd wanted to. Her stickwork aside, she happened to be a girl who knew how to wave to somebody from third base. The rest of the game, she got on base every time she came to bat. For some reason, she seemed to hate first base; there was no holding her there. At least three times, she stole second.

Her fielding couldn't have been worse, but we were piling up too many runs to take serious notice of it. I think it would have improved if she'd gone after flies with almost anything except a catcher's mitt. She wouldn't take it off, though. She said it was cute.

The next month or so, she played baseball with the Comanches a couple of

-- у его дядя лучший друг был бутлегером. Мы потеснились ради нее как только могли. Машина двинулась, вильнув, будто ее вел новичок. Все команчи, как один человек, молчали.

На обратном пути к нашей обычной стоянке Мэри Хадсон наклонилась к Вождю и стала восторженно отчитываться перед ним -- на какие поезда она опоздала и на какой поезд попала; жила она в Дугластоне, на Лонг-Айленде. Наш Вождь очень нервничал. Он не только никак не поддерживал разговор, он почти не слушал, что она говорила. Помню, что головка с рычага переключения передач отлетела у него под рукой.

Когда мы вышли из "пикапа", Мэри Хадсон тоже увязалась за нами. Не сомневаюсь, что, когда мы подошли к бейсбольной площадке, на лицах всех команчей читалась одна мысль: "Есть же такие девчонки, не знают, когда им пора убираться домой!" И в довершение всего, именно в ту минуту, как мы с другим команчем бросали монетку, чтобы разыграть поле между команчами, Мэри Хадсон робко выразила желание принять участие в игре. Ответ был более чем ясен. До этой минуты команчи с недоумением смотрели на эту особу женского пола, теперь в их взглядах вспыхнуло возмущение. Она же улыбнулась нам в ответ. Мы несколько растерялись. Тут вступился наш Вождь, проявив скрытую ранее способность теряться в некоторых обстоятельствах. Отведя Мэри Хадсон в сторону, чтобы не слышали команчи, он безуспешно пытался поговорить с ней серьезно и внушительно. Но Мэри Хадсон прервала его, и ее голос отчетливо услышали все команчи.

-- Но раз мне хочется! -- сказала она. -- Мне в самом деле хочется поиграть! Вождь кивнул и снова стал ее убеждать. Он показал на поле, мокрое, все в ямах. Он взял биты и продемонстрировал, какая она тяжелая.

-- Все равно! -- громко сказала Мэри Хадсон. -- Зря я, что ли, приехала в Нью-Йорк, будто бы к зубному врачу, и все такое. Нет, я хочу играть!

Вождь снова покачал головой, но сдался. Он медленно подошел туда, где ждали Смелчаки и Воители -- так назывались наши команды, -- и посмотрел на меня. Я был капитаном Воителей.

Он напомнил мне, что мой центральный принимающий сидит дома больной, и предложил в качестве замены Мэри Хадсон. Я сказал, что мне замена вообще не нужна. А Вождь сказал, а почему, черт подери? Я остоленел. Впервые в жизни Вождь при нас выругался.

Хуже того, я видел, что Мэри Хадсон мне улыбается. Чтобы прийти в себя, я поднял камешек и метнул его в дерево.

Мы подавали первые. Сначала центральному принимающему делать было нечего. Из первого ряда я изредка оглядывался назад. И каждый раз Мэри Хадсон весело махала мне рукой. Рука была в бейсбольной рукавице -- со стальным упорством Мэри настояла на своем и надела рукавицу. Ужасающее зрелище! У нас в команде Мэри Хадсон была по мячу девятой. Когда я ей об этом сообщил, она сделал гримасу и сказала: -- Хорошо, только поторопитесь! -- И, как ни странно, мы действительно заторопились. Пришла ее очередь. Для такого случая она сняла меховую шубку и бейсбольную рукавицу и встала на свое место в темно-коричневом платье. Когда я подал ей биты, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь забеспокоился и перешел с судейского места к ней поближе. Он велел Мэри Хадсон упереть конец биты в правое плечо.

-- А я уперла, -- сказала она. Он велел ей не сжимать биты изо всей силы. -- А я и не сжимаю! -- сказала она. Он велел ей смотреть прямо на мяч. -- Я и смотрю! -- сказала она. -- Ну-ка, посторонитесь! Мощным ударом она отбила первый же посланный ей мяч -- он полетел через голову левого крайнего. Даже для обычного удара это было бы отлично, но Мэри Хадсон сразу вышла на третью позицию -- вот так, запросто.

Во мне удивление сначала сменилось испугом, а потом -- восторгом, и, только оправившись от всех этих чувств, я посмотрел на нашего Вождя. Казалось, что он не стоит за подающим, а парит над ним в воздухе. Он был бесконечно счастлив. Мэри Хадсон махала мне рукой с дальней позиции. Я помахал ей в ответ. Тут меня ничто не могло остановить. Дело было не в умении работать битой, она и махать человеку с дальней позиции умела никак не хуже. До самого конца игры она каждый раз была здорово. Почему-то ей не нравилась первая позиция, она там никак не могла устоять. Трижды она переходила на вторую.

Принимала она из рук вон плохо, но мы уже так разыгрались, что некогда было обращать внимание. Конечно, она могла бы играть лучше, если бы отбивала чем угодно, только не бейсбольной рукавицей. А она никак не желала с ней расстаться.

Нет, говорит, она такая миленькая. Весь месяц она играла в бейс-

times a week (whenever she had an appointment with her dentist, apparently).

Some afternoons she met the bus on time, some afternoons she was late. Sometimes she talked a blue streak in the bus, sometimes she just sat and smoked her Herbert Tareyton cigarettes (cork-tipped). When you sat next to her in the bus, she smelled of a wonderful perfume.

One wintry day in April, after making his usual three o'clock pickup at 109th and Amsterdam, the Chief turned the loaded bus east at 110th Street and cruised routinely down Fifth Avenue. But his hair was combed wet, he had on his overcoat instead of his leather windbreaker, and I reasonably surmised that Mary Hudson was scheduled to join us. When we zipped past our usual entrance to the Park, I was sure of it. The Chief parked the bus on the corner in the Sixties appropriate to the occasion. Then, to kill time painlessly for the Comanches, he straddled his seat backward and released a new installment of "The Laughing Man." I remember the installment to the last detail, and I must outline it briefly.

A flux of circumstances delivered the Laughing Man's best friend, his timber wolf, Black Wing, into a physical and intellectual trap set by the Dufarges. The Dufarges, aware of the Laughing Man's high sense of loyalty, offered him Black Wing's freedom in exchange for his own. In the best faith in the world, the Laughing Man agreed to these terms. (Some of the minor mechanics of his genius were often subject to mysterious little breakdowns.) It was arranged for the Laughing Man to meet the Dufarges at midnight in a designated section of the dense forest surrounding Paris, and there, by moonlight, Black Wing would be set free. However, the Dufarges had no intention of liberating Black Wing, whom they feared and loathed. On the night of the transaction, they leashed a stand-in timber wolf for Black Wing, first dyeing its left hind foot snow white, to look like Black Wing's.

But there were two things the Dufarges hadn't counted on: the Laughing Man's sentimentality and his command of the timber-wolf language. As soon as he had allowed Dufarge's daughter to tie him with barbed wire to a tree, the Laughing Man felt called upon to raise his beautiful, melodious voice in a few words of farewell to his supposed old friend.

The stand-in, a few moonlit yards away, was impressed by the stranger's command of the language and listened politely for a moment to the last-minute advice, personal and professional, that the Laughing Man was giving out. At length, though, the stand-in grew impatient and began shifting his weight from paw to paw. Abruptly, and rather unpleasantly, he interrupted the Laughing Man with the information that, in the first place, his name wasn't Dark Wing or Black Wing or Gray Legs or any of that business, it was Armand, and, in the second place, he'd never been to China in his life and hadn't the slightest intention of going there.

Properly infuriated, the Laughing Man pushed off his mask with his tongue and confronted the Dufarges with his naked face by moonlight. Mlle. Dufarge responded by passing out cold. Her father was luckier. By chance, he was having one of his coughing spells at the moment and thereby missed the lethal unveiling. When his coughing spell was over and he saw his daughter stretched out supine on the moonlit ground, Dufarge put two and two together. Shielding his eyes with his hand, he fired the full clip in his automatic toward the sound of the Laughing Man's heavy, sibilant breathing.

The installment ended there. The Chief took his dollar Ingersoll out of his watch pocket, looked at it, then swung around in his seat and started up the motor. I checked my own watch. It was almost four-thirty. As the bus moved forward, I asked the Chief if he wasn't going to wait for Mary Hudson. He didn't answer me, and before I could repeat my question, he tilted back his head and addressed all of us: "Let's have a little quiet in this damn bus." Whatever else it may have been, the order was basically unsensible. The bus had been, and was, very quiet. Almost everybody was thinking about the spot the Laughing Man had been left in. We were long past worrying about him--we had too much confidence in him for that--but we were never past accepting his most perilous moments quietly.

In the third or fourth inning of our ball game that afternoon, I spotted Mary Hudson from first base. She was sitting on a bench about a hundred yards to my left, sandwiched between two nursemaids with baby carriages. She had on her beaver coat, she was smoking a cigarette, and she seemed to be looking in the direction of our game. I got excited about my discovery and yelled the information over to the Chief, behind the pitcher. He hurried over to me, not quite running.

"Where?" he asked me. I pointed again. He stared for a moment in the right direction, then said he'd be back in a minute and left the field. He left it slow-

бол с команчами раза два в неделю (как видно, в эти дни она приезжала к зубному врачу).

Иногда она встречала "пикап" вовремя, иногда опаздывала. То она трещала в машине без умолку, то молчала и курила свои сигареты с фильтром. А когда я сидел с ней рядом, я чувствовал, что он нее пахнут чудесными духами.

Однажды, холодным апрельским днем, наш Вождь, подобрав нас, как всегда, на углу Сто девятой и Амстердамской, повернул машину на восток у Сто десятой улице, и поехал обычным путем вниз по Пятой авеню. Но волосы у него были пригладены мокрой щеткой, вместо кожаной куртки на нем красовалось пальто, и я, само собой разумеется, предположил, что назначена встреча с Мэри Хадсон. А когда мы проскочили наш обычный въезд в парк, я уже не сомневался. Вождь остановил машину, как и полагалось, на углу одной из Шестидесятых улиц. И чтобы убить время без вреда для команчей, он сел к нам лицом и выдал новую серию приключений "Человек, который смеялся". Помню эту серию до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать ее.

Стечением обстоятельств лучший друг Человека, его ручной волк-гигант, Чернокрыл, попал в ловушку, хитро и коварно подстроенную Дюфаржами. Зная благородство Человека и его неизменную верность друзьям, Дюфаржи предложили ему освободить Чернокрылого в обмен на него самого. Безоговорочно поверив им, Человек согласился на эти условия (иногда в мелочах гениальный механизм его мозга по каким-то таинственным причинам не срабатывал). Было условлено, что Дюфаржи встретятся с Человеком в полночь на полянке в дремучем лесу, окружавшем Париж, и там при свете луны они выпустят Чернокрылого. Однако Дюфаржи и не подумали отпустить Чернокрылого, которого они боялись и ненавидели. В назначенную ночь они привязали вместо Чернокрылого другого, подставного волка, выкрасив ему левую заднюю лапу в белоснежный цвет -- для полного сходства с Чернокрылым.

Но Дюфаржи позабыли о двух вещах: о чувствительном сердце человека и о его знании волчьего языка. Лишь только он дал дочери Дюфаржа привязать себя колючей проволокой к дереву, как по зову души его прекрасный мелодичный голос зазвучал прощальным напутствием тот, кого он принял за своего друга.

Подставной волк, стоявший в нескольких шагах на освещенной лунной поляне, был поражен лингвистическими познаниями незнакомца и вежливо выслушал последние напутствия как личного, так и профессионального характера. Но потом ему это надоело, и он стал переступать с лапы на лапу. Внезапно он довольно резким тоном перебил Человека, сообщив, что, во-первых, зовут его не Темнокрылый, и не Чернокрылый, и не Сероногий, и вообще не дурацкой кличкой: зовут его Арман, а во-вторых, он никогда в жизни не был в Китае не испытывает ни малейшего желания попасть туда.

В справедливом гневe Человек сдернул языком маску и при лунном свете явился Дюфаржам во всей наготe своего лица. Мадемуазель Дюфарж тут же хлопнулась в обморок. Ее отцу повезло больше. Его, к счастью, одолел обычный припадок чахоточного кашля, и он избежал смертельного испуга. Когда припадок прошел и он увидел озаренное луной бесчувственное тело дочери, он тут же все понял. Закрыв глаза ладонью, он выпустил всю обойму из пистолета прямо на звук тяжелого, свистящего дыхания Человека.

На этом рассказ кончился до следующего выпуска. Вождь вынул из карманчика свои долларовые часы, взглянул на них, повернулся к рулю и завел мотор. Я проверил и свои часы. Было почти половина пятого. Когда машина тронулась, я спросил Вождю -- разве мы не будем ждать Мэри Хадсон? Он мне не ответил, и, прежде чем я успел повторить вопрос, он обернулся и сказал, обращаясь ко всем: -- А ну, давайте-ка помолчим! Тихо! -- Как ни кинь, но, по существу, этот приказ был бессмыслицей! В машине и раньше, и сейчас стояла абсолютная тишина. Все думали о передрыге, в которую попал Человек. Нет, мы о нем уже давно перестали тревожиться -- слишком мы в него верили, -- но, когда он подвергался опасности, нам было не до разговоров.

Мы уже сыграли три или четыре тайма, когда я вдруг издала увидела Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке, шагах в ста налево от меня, стиснутая двумя няньками с колясочками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и как будто смотрела в нашу сторону. Я заволновался -- такие открытие! -- и крикнул об этом нашему Вождю, стоящему за подававшим. Он поспешил ко мне, стараясь не бежать.

"Где?" -- спросил он. Я показал где. Он посмотрел в ту сторону, потом сказал: "Вернусь через минутку". И ушел с поля. Уходил он медлен-

ly, opening his overcoat and putting his hands in the hip pockets of his trousers. I sat down on first base and watched. By the time the Chief reached Mary Hudson, his overcoat was buttoned again and his hands were down at his sides.

He stood over her for about five minutes, apparently talking to her. Then Mary Hudson stood up, and the two of them walked toward the baseball field. They didn't talk as they walked, or look at each other. When they reached the field, the Chief took his position behind the pitcher. I yelled over to him. "Isn't she gonna play?" He told me to cover my sack. I covered my sack and watched Mary Hudson. She walked slowly behind the plate, with her hands in the pockets of her beaver coat, and finally sat down on a misplaced players' bench just beyond third base. She lit another cigarette and crossed her legs.

When the Warriors were at bat, I went over to her bench and asked her if she felt like playing left field. She shook her head. I asked her if she had a cold. She shook her head again. I told her I didn't have anybody in left field. I told her I had a guy playing center field and left field. There was no response at all to this information. I tossed my first-baseman's mitt up in the air and tried to have it land on my head, but it fell in a mud puddle. I wiped it off on my trousers and asked Mary Hudson if she wanted to come up to my house for dinner sometime. I told her the Chief came up a lot.

"Leave me alone," she said. "Just please leave me alone."

I stared at her, then walked off in the direction of the Warriors' bench, taking a tangerine out of my pocket and tossing it up in the air. About midway along the third-base foul line, I turned around and started to walk backwards, looking at Mary Hudson and holding on to my tangerine. I had no idea what was going on between the Chief and Mary Hudson (and still haven't, in any but a fairly low, intuitive sense), but nonetheless, I couldn't have been more certain that Mary Hudson had permanently dropped out of the Comanche lineup. It was the kind of whole certainty, however independent of the sum of its facts, that can make walking backwards more than normally hazardous, and I bumped smack into a baby carriage.

After another inning, the light got bad for fielding. The game was called, and we started picking up all the equipment. The last good look I had at Mary Hudson, she was over near third base crying.

The Chief had hold of the sleeve of her beaver coat, but she got away from him. She ran off the field onto the cement path and kept running till I couldn't see her any more. The Chief didn't go after her. He just stood watching her disappear. Then he turned around and walked down to home plate and picked up our two bats; we always left the bats for him to carry. I went over to him and asked if he and Mary Hudson had had a fight. He told me to tuck my shirt in.

Just as always, we Comanches ran the last few hundred feet to the place where the bus was parked, yelling, shoving, trying out strangleholds on each other, but all of us alive to the fact that it was again time for "The Laughing Man."

Racing across Fifth Avenue, somebody dropped his extra or discarded sweater, and I tripped over it and went sprawling. I finished the charge to the bus; but the best seats were taken by that time and I had to sit down in the middle of the bus. Annoyed at the arrangement, I gave the boy sitting on my right a poke in the ribs with my elbow, then faced around and watched the Chief cross over Fifth. It was not yet dark out, but a five-fifteen dimness had set in. The Chief crossed the street with his coat collar up, the bats under his left arm, and his concentration on the street. His black hair, which had been combed wet earlier in the day, was dry now and blowing. I remember wishing the Chief had gloves.

The bus, as usual, was quiet when he climbed in--as proportionately quiet, at any rate, as a theatre with dimming house lights. Conversations were finished in a hurried whisper or shut off completely. Nonetheless, the first thing the Chief said to us was "All right, let's cut out the noise, or no story."

In an instant, an unconditional silence filled the bus, cutting off from the Chief any alternative but to take up his narrating position.

When he had done so, he took out a handkerchief and methodically blew his nose, one nostril at a time. We watched him with patience and even a certain amount of spectator's interest. When he had finished with his handkerchief, he folded it neatly in quarters and replaced it in his pocket. He then gave us the new installment of "The Laughing Man." From start to finish, it lasted no longer than five minutes.

но, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел у первой позиции и стал смотреть ему вслед. Когда он подходил к Мэри Хадсон, пальто у него было уже застегнуто доверху и руки вытянуты по швам.

Он постоял над ней минут пять, кажется, он что-то ей сказал. Потом Мэри Хадсон встала, и оба пошли к площадке. На ходу они молчали и ни разу не взглянули друг на друга. Когда они подошли Вождь снова встал на свое место, я заорал: -- А она будет играть? Он сказал -- молчи в тряпочку. Я помолчал в тряпочку, но глаз с Мэри Хадсон не спускал. Она медленно прошла вдоль площадки, засунув руки в карманы меховой шубки, и наконец села на сдвинутую с места скамейку, за третьей ей позицией. Она закурила сигарету и закинула ногу на ногу.

Когда били Воители, я подошел к ее скамейке и спросил, не хочет ли она поиграть на левом краю. Она покачала головой: Я спросил: -- У вас насморк? -- Но она опять помотала головой. Я сказал, что у меня на левом краю играть совершенно некому. Я ей объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил вверх свою рукавицу, пытаюсь отбить ее головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хадсон: не придет ли она к нам домой, в гости, к обеду? Я ей объяснил, что наш Вождь часто бывает у нас в гостях.

-- Оставь меня в покое, -- сказала она. -- Пожалуйста, оставь меня в покое.

Я посмотрел на нее во все глаза, потом пошел к скамье, где сидели мои Воители, и, вынув мандаринку из кармана, стал подбрасывать ее в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернул и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хадсон и продолжая подкидывать мандаринку. Я понятия не имел, что же происходит между ней и нашим Вождем, да и теперь только чутьем смутно догадываюсь, и все же во мне росла уверенность, что Мэри Хадсон навсегда выбыла из племени команчей. Эта уверенность независимо от внешних обстоятельств так подорвала даже нормальную способность пятиться задом, что я налетел прямо на детскую коляску.

После следующего тайма играть стало уже темновато. Мы закончили игру и стали подбирать снаряжение. Я еще успел разглядеть Мэри Хадсон -- она стояла у края площадки и плакала.

Вождь придержал было ее за рукав шубки, но она вырвалась. Она побежала от площадки по цементной дорожке и бежала, пока не скрылась из виду. Вождь за ней не побежал. Он только провожал ее глазами, пока она не скрылась. Потом повернулся, вышел на поле и поднял обе наших биты -- мы всегда оставляли биты, и он их относил в машину. Я подошел к нему и спросил: может, они с Мэри Хадсон поссорились? Он сказал: -- Не суй нос куда не следует.

Как всегда, мы, команчи, с криком и визгом бежали к машине и те-ребя друг друга; все отлично знали, что сейчас опять подходит время для рассказа о Человеке, который смеялся.

Перебегая Пятую авеню, кто-то уронил свой запасной свитер, и, споткнувшись об него, я растянулся во весь рост. Добежав до машины, я увидел, что лучшие места уже успели занять, и мне пришлось сидеть в среднем ряду. Расстроившись, я двинул соседа справа локтем под ребро, потом выглянул -- и увидел, как наш Вождь переходит улицу. Было еще не совсем темно, но уже смеркалось, как всегда в четверть шестого. Наш Вождь переходил улицу с поднятым воротником, с битами под мышкой, уставившись на мостовую. Его черная шевелюра, так хорошо приглаженная мокрой щеткой, теперь высохла и развеялась по ветру. Помню, я пожалел, что у него нет перчаток.

Как всегда при его появлении, в машине наступила тишина.

То есть тишина относительная, как в театре, когда свет начинает гаснуть. Кто торопливым шепотом заканчивал разговор, кто сразу обрывал его. И все-таки первое, что сказал наш Вождь, было: -- Тихо, ребята, а то рассказывать не буду.

В ту же секунду воцарилась полнейшая тишина, так что Вождю только и оставалось сесть на место и приготовиться к рассказу.

Усевшись, он вынул носовой платок и тщательно высморкал сначала одну ноздрю, потом другую. Мы смотрели на это зрелище терпеливо и даже с некоторым интересом. Высморкавшись, он аккуратно сложил платок вчетверо и засунул в карман. И тут последовал новый выпуск рассказа о Человеке, который смеялся. Продолжался он не более пяти минут.

Four of Dufarge's bullets struck the Laughing Man, two of them through the heart. When Dufarge, who was still shielding his eyes against the sight of the Laughing Man's face, heard a queer exhalation of agony from the direction of the target, he was overjoyed. His black heart beating wildly, he rushed over to his unconscious daughter and brought her to. The pair of them, beside themselves with delight and coward's courage, now dared to look up at the Laughing Man. His head was bowed as in death, his chin resting on his bloody chest. Slowly, greedily, father and daughter came forward to inspect their spoils. Quite a surprise was in store for them. The Laughing Man, far from dead, was busy contracting his stomach muscles in a secret manner. As the Dufarges came into range, he suddenly raised his face, gave a terrible laugh, and neatly, even fastidiously, regurgitated all four bullets. The impact of this feat on the Dufarges was so acute that their hearts literally burst, and they dropped dead at the Laughing Man's feet. (If the installment was going to be a short one anyway, it could have ended there; the Comanches could have managed to rationalize the sudden death of the Dufarges. But it didn't end there.) Day after day, the Laughing Man continued to stand lashed to the tree with barbed wire, the Dufarges decomposing at his feet. Bleeding profusely and cut off from his supply of eagles' blood, he had never been closer to death. One day, however, in a hoarse but eloquent voice, he appealed for help to the animals of the forest. He summoned them to fetch Omба, the lovable dwarf. And they did. But it was a long trip back and forth across the Paris-Chinese border, and by the time Omба arrived on the scene with a medical kit and a fresh supply of eagles' blood, the Laughing Man was in a coma. Omба's very first act of mercy was to retrieve his master's mask, which had blown up against Mlle. Dufarge's vermin-infested torso. He placed it respectfully over the hideous features, then proceeded to dress the wounds.

When the Laughing Man's small eyes finally opened, Omба eagerly raised the vial of eagles' blood up to the mask. But the Laughing Man didn't drink from it. Instead, he weakly pronounced his beloved Black Wing's name. Omба bowed his own slightly distorted head and revealed to his master that the Dufarges had killed Black Wing. A peculiar and heart-rending gasp of final sorrow came from the Laughing Man. He reached out wanly for the vial of eagles' blood and crushed it in his hand. What little blood he had left trickled thinly down his wrist. He ordered Omба to look away, and, sobbing, Omба obeyed him. The Laughing Man's last act, before turning his face to the bloodstained ground, was to pull off his mask.

The story ended there, of course. (Never to be revived.) The Chief started up the bus. Across the aisle from me, Billy Walsh, who was the youngest of all the Comanches, burst into tears. None of us told him to shut up. As for me, I remember my knees were shaking.

A few minutes later, when I stepped out of the Chief's bus, the first thing I chanced to see was a piece of red tissue paper flapping in the wind against the base of a lamppost. It looked like someone's poppy-petal mask. I arrived home with my teeth chattering uncontrollably and was told to go right straight to bed.

Четыре пули Дюфаржа вонзились в Человека, две из них -- прямо в сердце. Когда Дюфарж, все еще закрывавший ладонью глаза, чтобы не видеть лицо Человека, услышал, как оттуда, куда он целил, доносятся предсмертные стоны, он возликовал. Сердце злодея радостно колотилось, он бросился к дочери, лежавшей в обмороке, и привел ее в чувство. Вне себя от радости они оба с храбростью трусов только теперь осмелились взглянуть на Человека, который смеялся. Его голова поникла в предсмертной муке, подбородок касался окровавленной груди. Медленно, жадно отец и дочь приближались к своей добыче. Но их ожидал немалый сюрприз. Человек вовсе не умирал, он тайными приемами сокращал мускулы живота. И когда Дюфаржи приблизились, он вдруг поднял голову, захохотал гробовым голосом и аккуратно, даже педантично, выплюнул одну за другой все четыре пули. Этот подвиг так поразили Дюфаржей, что сердца у них буквально лопнули, и оба, отец и дочь, замертво упали к ногам Человека, который смеялся. (Если выпуск все равно предполагалось сделать коротким, можно было бы остановиться на этом: команчи легко нашли бы объяснение внезапной смерти Дюфаржей. Но рассказ продолжался.) День за днем Человек стоял, привязанный к дереву колючей проволокой, а трупы Дюфаржей разлагались у его ног. Никогда еще смерть не подбиралась к нему так близко -- его раны кровоточили, а запасов орлиной крови под рукой не было. И вот однажды охрипшим, но задушевым голосом он воззвал к лесным зверям, прося их помочь ему. Он поручил им позвать к нему симпатичного карлика Омбу. И они позвали. Но длинна дорога через парижско-китайскую границу и обратно, и, когда Омба прибыл с аптечкой и свежим запасом орлиной крови, Человек уже потерял сознание. Прежде всего Омба совершил акт милосердия: он поднял маску своего господина, которая валялась на кишасе червями теле мадемуазель Дюфарж. Он почтительно прикрыл жуткие черты лица и лишь тогда стал перевязывать раны.

Когда Человек, который смеялся, наконец приоткрыл заплывшие глаза, Омба торопливо поднес к маске сосуд с орлиной кровью. Но Человек не притронулся к нему. Слабым голосом он произнес имя своего любимца -- Чернокрылого. Омба склонил голову -- она тоже была не слишком красивой -- и открыл своему господину, что Дюфаржи убили верного волка, Чернокрылого. Горестный, душераздирающий стон вырвался из груди Человека. Слабой рукой он потянулся к сосуду с орлиной кровью и раздавил его. Остатки крови тонкой струйкой побежали по его пальцам; он приказал Омбе отвернуться, и Омба, рыдая, повиновался ему. И перед тем как обратить лицо к залитой кровью земле, Человек, который смеялся, в предсмертной судороге сдернул маску.

На этом повествование, разумеется, и кончилось. (Продолжения никогда не было.) Наш Вождь тронул машину. Через проход от меня Вилли Уолш, самый младший из команчей горько заплакал. Никто не сказал ему -- замолчи. Как сейчас помню, и у меня дрожали коленки.

Через несколько минут, выйдя из машины, я вдруг увидел, как у подножия фонарного столба бьется по ветру обрывок тонкой алой оберточной бумаги. Он был очень похож на ту маску из лепестков мака. Когда я пришел домой, зубы у меня безудержно стучали, и мне тут же велели лечь в постель.

Перевод: Рита Райт-Ковалева.

Параллельный текст: А.Эджумян.